

Я

смотрю на ее руки — морщинистые, крепкие, короткопалые. Они в беспрестанном движении. На них слишком много кожи. При каждом изгибе она собирается в горы и распускается в дюны. И я непрерывно наблюдаю этот переменчивый выветренный ландшафт. В твердых пальцах добела сжата крошечная веточка черемухи. Каждую секунду она подлетает в воздухе вслед за рукой и роняет на алые ситцевые просторы колен белый душистый снег. Бабушка не смотрит на меня. Ее поблекшие сизые глаза слепо обшаривают реку и камыш, тонущий в воде закат. Я хочу запомнить ее такой — задумчивой, печальной и смиренной. Но сквозь зримые черты упрямо проступают другие — и я вижу крепкую черноволосую женщину, которая энергично движется и поет. Поет всегда. И никогда не останавливается.

...Кухня, на которой проходило мое детство, была Кухней с большой буквы — это была бабушкина лаборатория и бабушкино царство. Здесь все устраивалось согласно ее вкусам, привычкам и правилам. Стены были покрыты белым кафелем на две трети и белым побелены сверху; все приборы сияли белизной. По белому полю занавески с широкой оборкой скакали круглые синие блюда, крынки и кувшинчики, кастрюли и кастрюльки с приоткры-

тыми крышками, из-под которых валил синий пар. За занавеской из сиющего всегда окна виден был внутренний дворик маленького советского квартала. Часть окна закрывал могучий раскидистый орех, старый, как сам этот дом. Он отбрасывал густую тень на крыльцо подъезда, камни которого от этого давным-давно покрылись бледным желтоватым мхом. А прямо под окном разлилась во всю пробойну в асфальте большая вечная лужа, которую старались объезжать то и дело спускающиеся по улице к ГОРГАЗу «москвичи». Иногда к луже подходила пятнистая рыжая кошка и, как ни в чем не бывало, лакала воду. Я не могла выносить этого зрелища — мне было ужасно представить себе, сколько опасностей таил в себе ее водопой, и я поскорее отворачивалась от окна.

В бабушкиной Кухне всегда играло радио. Я знала все песни, которые крутили тогда, наизусть, и бабушка радовалась, если я начинала подпевать вместе с ней, пока она жарила на красивой черной сковороде, снятой со стены, вареную колбасу к гречке. Потом мы обедали, и бабушка доставала другую, специальную, сковороду. Это означало, что вечером у нас будут блины. Я радовалась, предвкушая, какой особенный жар и вкус будет у первого кружевного блина, который я получу на пробу раньше всех: бабушка смажет его сладким сливочным маслом, обсыплет сахаром и свернет в треугольник, как мы сворачиваем с мамой бумагу, чтобы вырезать из нее салфетку, и, приговаривая, уложит на мою любимую тарелку с Лисой, такой хитрой, как будто она вот-вот съест Колобка. Назло всем поговоркам, у бабушки никогда не бывало блинов комьями.

Но ждать приходилось слишком долго, и тогда, заскучав, я отправлялась в комнату, собирала там своих зверей — и везла их в маленькой тележке в долгое, полное опасностей путешествие. Сперва они преодолевали маковые поля, вычитанные мной в «Волшебнике Изумрудного Города», в спальне, пол которой был застелен зеленым ковром («Как хорошо, что маки еще не зацвели!» — радовались мои звери). Это были еще цветочки! Потом они мучительно шли по пустыне Гоби из «Клуба Путешественников» (линолеум в большой комнате был светло-бурым), с трудом преодолевая обезвоживание и усталость. Всех спал пластмассовый верблюд, который довозил, наконец, тележку с обессиленными зверями до порога. Наградой за скитания и труды было большое морское путешествие к необитаемому острову, которое совершалось по радужному, ярко-синему линолеуму Кухни, и, несмотря на регулярные бури и водовороты (исполинская нога лох-несского чудовища то и дело норовила наступить в тележку, которая превратилась в корабль, и раздавить его в щепки), было полно добрых предзнаменований и надежд.

К тому времени, когда звери уже несколько уставали от морских восторгов и радостных ожиданий, а бабушка, наконец, начинала сердиться, первый блин обычно бывал готов. Я быстренько проигрывала все путешествие в обратном порядке, водворяла зверей в коробку и занимала свое любимое место у окна. Горячий блин, сладкий чай с лимоном, отутюженная занавеска, орех в окне и даже непутевая кошка, которая теперь беспечно вылизывалась на клумбе у соседнего дома, — все это была бабушка.

* * *

Она привычно вздыхает и начинает тихо говорить.

— У нас в цокольном этаже жил дед Тимоня. Тогда не говорили «цокольный этаж», а попросту называли его «подвал». Так вот в подвале этом жил дед...

Он был суровым, этот дед Тимоня. Тихим, сердитым, суровым стариком, похожим на барского дворника или привратника. Трудно сказать, какая судьба поместила его в подвал одного из ветхих дореволюционных домов. Но приходилось ему, наверное, туго, ибо дед гадал на картах за разную еду. Он жил бобылем, и молодые девчонки нескончаемой вереницей, с булками и соленьями из материнских кладовых, тащились в его комнатуху. Ходили по двое или по трое, потому что были убеждены, что Тимоня колдун — все, что дед нагадывал, необъяснимым образом сбывалось в самое короткое время.

— И вот мама отрезала мне половину батона и дала баночку варенья — иди, говорит, к деду Тимоне. Я позвала Нину — ийти одной было страшно, — и мы отправились. Она себе не гадала, а только сидела подле дяди для поддержки. Дед разложил карты, такие жирные, замусоленные — весь стол занял! — и сказал, как отрезал: «За моряка собралась? Не выйдешь за моряка. Выйдешь за студента. И будете вы всю жизнь с ним, как кошка с собакой!» Ну? — бабушка оживляется, смотрит на меня озаренно. — Ты представляешь? А я-то еще засомневалась: за какого студента? Я тогда с Аликом дружила...

Они жили в доме по соседству в четырех комнатах — мать, преподаватель, отец — отставной морской офицер, сестра с мужем и маленькой дочерью. И Алик. Он был младшим сыном в семье и только недавно окончил гражданское мореходное училище. Отец получил квартиру после войны, когда они переехали сюда из Москвы. Все было по-настоящему — и гостиная с круглым столом под кипенно-белой скатертью, и аккуратные горшочки с геранью, друзья на праздники и дача по выходным. В доме, как водится, все их знали и, здороваясь, улыбались шире обыкновенного, как принято улыбаться здоровым, благополучным и богатым людям, которым смертельно завидуешь. Алику шел 23-й год, он уже два года плавал помощником машиниста и заканчивал заочно судовождение на морских путях. В этом году должно было состояться его первое настоящее плаванье — полгода на грузовом судне по Балтике. Оставалось только два месяца.

— Знаешь, как мы познакомились? — бабушка говорит не мне, а реке. — Ходили девчатами на реку купаться...

Большое водохранилище, которое навсегда противопоставило интеллигентный правый берег пролетарскому левому, тогда еще не было, а была речка, узкая, глубокая и холодная. По дну ее били ключи, а в омутах невидимые водовороты грозили отважным мальчишкам. Города за рекой почти не было — он весь стоял на холмах справа, возвышаясь пиками сталинских башен над тихими старыми садами бывших слободок, послевоенный, обновленный. Вдоль берега тянулась песчаная лента пляжей, где все лето возилась беспечная, безпризорная городская малышня. Приходили купаться девушки в глухих купальниках, и щеки их расцветали маками, если на пляже появлялись смешливые бравые парни, скидывали штаны и прямо в мешковатых семейных трусах бросались в сверкающую буроватую воду. Так они и встретились — смелый моряк и красивая фабричница, герои черно-белой эпохи...

— И вот мы приходим раз, а на нашем месте ребята. Подошли к нам — мол, девочки, можно с вами познакомиться? Тогда не то, что сейчас... Тогда ребята не такие наглые были. Они к нам не лезли, не приставали, вежливо присели рядом. Разговорились. Одному я особенно понравилась. Он говорит: «А я тебя знаю, ты в соседнем доме живешь с мамой». Я говорю: «Да, с мамой, все верно».

Эту, послевоенную квартиру — комната с печкой и кухонька — прабабушка, санитарка госпиталя, получила вместо прежней. Там они жили вдвоем, когда ушел прадед. Было холодно и темно, зимой от сырости волосы примерзали к подушке. Вешние воды стремительным потоком сбегали с холма и хлестали через порог, заливая дом. Бабушка очень боялась крыс, живших под полом, потому что соседскому мальчику, младенцу, они погрызли голову ночью, пока все спали. И еще потолка, который однажды большим куском свалился в ведро с водой в полуметре от ее кровати... Мать больше не работала — она все болела и жила на пенсию по инвалидности. Бабушка собирала телевизоры на заводе и училась на машинистку.

— Он у меня спрашивает: «Ты на заводе работаешь? Все, смотрю, вечером бежишь куда-то». А я говорю: «На заводе, да. Только это я не все на завод бегу. Я еще в хоре пою. Мы вечером репетируем». Он оживился: «А ну-ка, — говорит, — спой что-нибудь, пожалуйста!» И я ему спела одну песню... Да ты ее знаешь, я тебе пела, когда ты маленькая была. Колыбельная.

И бабушка тихонько напевает:

Ночь пришла на мягких лапах,
Ходит, как медведь...

Я забываю, что она говорила. Меня опять, как живая, обступает теплая синяя темнота, смотрит пытливо тысячью золотых глаз. Но раз рядом медведь, то мне ничего, мне не страшно... А в песне появляется мать. Она в сиреновом халате, да-да. И волосы у нее темные, до плеч. Голый малыш, озаренный лунным светом, сучит ножками и плачет в кровати, а она из темноты поет ему медленно и красиво («Мальчик создан, чтобы плакать, мама — чтобы петь...») и смотрит на него с нежностью и любовью, а я немножко ревную. Потом вдруг вскидывает глаза к окну, а за окном бесконечное суровое море и шторм, и в этом шторме в беснующихся волнах ныряет и прыгает корабль. На мачте — отец, он крепко держится за канаты и зорко всматривается в темноту, а взгляд его бесстрашный и решительный: он высматривает врага, который устроил бурю, и как только найдет, уничтожит его немедленно, чтобы буря не добралась до его маленького сына, потому что «Папа твой в далеком море — /Бережет твой сон». И я успокаиваюсь: я понимаю, что с таким отцом малыш может преспокойно продолжать лежать голеньким в кровати, ничего плохого с ним не случится...

А бабушка поет нетвердым голосом, и глаза ее ничего не выражают. Она покачивает головой и безучастно смотрит на залитую багрянцем реку...

— Ну вот. А Алик заслушался, задумался, стал неожиданно таким серьезным, и говорит: «Ты знаешь, у меня мама эту песню всегда поет».

Он стал навещать их. Прабабушка, тоненькая сухая старушка сорока пяти лет, таяла, когда Алик лихо срывал фуражку и, широко улыбаясь, бочком входил в узкий проем между стеной и низким пузатым шкафом. Она вскакивала со своей стальной кровати, чтобы пододвинуть ему единственный стул, и та обиженно гремела. А молодая бабушка, пряча неловкую улыбку, исчезала в кухне, звякала чайником, плескала водой, чиркала спичкой и тихонько-радостно напевала. Сидя на почетном стуле, Алик прислушивался невольно и сам с собой улыбался.

Он знал, что женщины очень бедны и всегда приносил к чаю большие

сладкие яблочки, изюм и удивительно вкусные домашние сдобные пирожки — от мамы.

— А тем временем ему уже в плаванье уходить. И вот пришел он раз и говорит: «Ты мне очень нравишься, Наташа», — и сделал мне предложение. А я растерялась. Он мне нравился тоже, только я этого никак не ожидала. «Но, говорит, смотри: у нас пока ничего не будет («Ну, ты поняла, чего» — косится на меня бабушка), потому что я хочу, чтобы ты меня дождалась». Я страшно рассердилась: «Хорошо же, говорю, ты обо мне думаешь! А еще замуж зовешь. Да если хочешь знать, я бы и сама до свадьбы ни за что не согласилась!» — даже заплакала от обиды. А он рассмеялся и обнял меня за плечи — первый раз.

На другой день бабушка не пошла вечером на репетицию хора.

— Алик принес мне настоящие бусы — простенькие, маленькие, из агата. Очень красивые. У меня совсем не было бус... И сказал: «Собирайся, пойдем — я познакомлю тебя с родителями». Мама так разволновалась. Платок новый надела. Всю дорогу шла, голову опустив. Она совсем простая у меня была, образования — три класса, приехала из деревни, а там — одиннадцать душ детей, и мама — самая младшая... За отцом в город поехала, а он с войны к другой женщине вернулся, нас и не вспомнил... Всю жизнь ей, бедняжке моей, одно горе...

Бабушкины слезы текут по мягким ее щекам по воле природы, исполненные глубокой печалью бытия, легко и безучастно — слезы старости и привычки к состраданию.

— Алик потом сказал мне, что сразу хотел на мне жениться, до отъезда, а его отец не велел. Сказал, пусть подождет, вот и проверишь ее чувства... Я не знаю, почему мы тогда ему не понравились. Прошло много лет, и я приезжала к матери уже с твоей мамой. Мы столкнулись с его отцом на улице — он был в инвалидной коляске, сам подъехал к нам поздороваться и сказал: «Это мне за тебя наказание», — и заплакал, совсем как старик. Может быть, он богатую невесту сыну хотел, я не знаю. Но только Алик тогда ссориться с отцом не стал, а я согласна была ждать. Он красивый был, Алик, рослый такой, чернявый, веселый...

...Я снова вижу бабушку — старую и усталую, седые глаза за очками, веточка черемухи, красная юбка... Бабушка, бабушка, теперь я всегда буду знать, что там, в колыбельной, на мачте стоял красивый черно-волосый Алик — мои воспоминания никогда не станут прежними.

А бабушка продолжает говорить. Она долго, она двадцать лет ждала меня, чтобы говорить.

— И он уехал. Прислал письмо через месяц, чтобы я его ждала, готовилась. Босоножки серебряные, из Риги — вот, говорит, на свадьбу тебе, к платью.

Бабушка снова вздыхает — ей не горько, она просто привыкла вздыхать на этом месте.

— А тут у нас в Доме культуры случился вечер. Наш хор должен был выступать, а я солировала.

Вязаная кофточка поверх крепдешинового платья, агатовые бусы Алика и, конечно, бессменная Нина. Молодая бабушка идет петь. Не покорять сцену, а красиво делать любимое дело. Она встает в ряд с другими девушками в крепдешиновых платьях, и когда запеваает, делает два шага вперед. От ее застенчивости не остается и следа, она забывает себя. Она не смотрит в зал, где сидят на стульях и стоят по стенкам парни и девуш-

ки, которые возбужденно шепчутся, хихикают, шаркают, прислушиваются и снова шепчутся, и ждут танцев.

— После концерта я заспешила домой. Уже в гардеробе ко мне подошел мой троюродный брат, Толик. Он учился в нашем городе, а пока поступал и общежития ждал, у нас с мамой жил. Подошел с другом и говорит: «Вот, Наташа, познакомься, это мой друг Миша. Он у нас в самодеятельности на баяне играет. Очень ему понравилось, как ты пела. Хочет тебя пригласить в ансамбль, чтобы вместе подготовить номер к студенческой осени». А мне нравилось петь, я знала, что хорошо это умею, и не ломалась. Я согласилась.

...Я знаю, что будет дальше. И мне мучительно слушать снова и снова, потому что... Бабушка, пожалуйста, пусть сегодня она закончится по-другому! Пусть у нее будет такой конец, что «жили они долго и счастливо». Бабушка, вот ты говоришь это опять. Каждый раз проживаешь свою нелюбимую жизнь. Каждый день у тебя — мимо. Каждый день ты не смотришь на себя, сурьмишь по привычке тонкие, в ниточку, брови, красишь бледные выцветшие губы, каждый день сжимаешь пальцами добела нож, нитки, тряпки, крестишься побелевшей цепотью; напеваешь, как будто сумасшедший качается в углу мягкой комнаты; не замечаешь жизни, ругаешь булочницу на углу, все ту же вечную булочницу, что и вчера, и 10 лет назад, которая обсчитывает тебя на 20 копеек; радуешься, что сэкономила на молоке; надеваешь бесформенное пальто, бесцветные сапоги, шапку, молорую я помню с малолетства; черные агатовые бусы Алика я давно разобрала на камешки — они лежат у тебя в одной из бесчисленных коробочек из-под чая в одном из десятков ящичков твоих обветшалых комодов; ты по привычке видишь сны и лезешь утром в дешевый рассыпавшийся сонник; ты ничего не ждешь и ничего не хочешь. Бабушка! Почему ты живешь?..

* * *

Мой дед был моим добрым другом. Я знала, что он плурует, когда мы играем в прятки, но он так искренне не замечал меня под стулом целых пять минут подряд, что я все равно приходила в восторг. Дед был лесником. Да-да, я тоже считала, что лесник — это косматый, суровый, седой старик, который прячет бороду в карман, наподобие Карабаса Барабаса, чтобы она не приставала к окрестным соснам, между которых он коротает дни на пеньке. Дед был неправильным лесником. Во-первых, он был обширно лыс и гладко выбрит. Во-вторых, его лукавое широкое лицо никак нельзя было назвать суровым. В-третьих, он почти что ни разу в жизни не был в настоящем густом лесу, а ходил на работу в большой, свежий дом, страшный, потому что там беспрестанно гудели какие-то аппараты под давлением, дырявые электрические столы и пахло озоном, но на лес совершенно непохожий. Дом назывался «лесосеменная станция», а дед — «директор». Впрочем, от леса там тоже кое-что было, а именно завораживающие прозрачные коробочки с семенами, покрывавшие целую стену в его кабинете. Это были семена растений, росших в нашем крае, и когда я представляла себе все эти семена деревьями, я проникалась еще большим уважением к деду и соглашалась с тем, что все-таки он, пожалуй, и вправду лесник.

Дед знал названия всех деревьев и кустов, которые только могли нам встретиться в городе. Вместе мы собирали в зарослях старого парка круп-

ный розовый боярышник, белую, похожую на жирных гусениц, шелко-вицу, а потом спускались к реке, дед выбирал себе ивовый пенёк пошире и покладисто ел рыбу, которую я, превратившись в рыбака, таскала из воды, жарила и тут же подавала на стол. Потом дед учил меня кидать камешки так, чтобы они прыгали по воде, но у меня ничего не получалось, тогда как послушные ему гольши делали всегда по три прыжка над водой, и дед от этого становился в моих глазах еще прекраснее.

А потом, когда мне пора было возвращаться, чтобы пообедать и улечься спать, дед придумывал заранее безнадежное состязание «кто быстрее» и, если я капризничала, сулил сладкую награду чемпиону. Я каждый раз покупалась на эту уловку, несмотря на то, что прекрасно знала, чем все кончится: я прибегу первой, и хитрый дед со смехом преподнесет мне собранный в парке боярышник и шелковицу, довольный, как ребенок, что так искусно меня провел...

* * *

— И вот я стала ходить в институт. У них был маленький ансамбль — две балалайки, губная гармонь, барабан и баян...

Дед был приземистым, коренастым, голубоглазым, носил заливчатый чуб под фурагой, такой белый, что его с детства дразнили Сметаной. Он был самоучкой. В оккупированной Украине выучился читать и писать по книжкам старшей сестры. Потом увлекся техникой и мастерил всей деревне тележки из ящиков от динамита, которые таскал с угольного комбината, где мать работала сортировщицей. Делал фонарики, зажигалки из неразорвавшихся патронов, чинил приемники за картошку и масло. На баяне играл один шахтер — дед смотрел на него и все запоминал в зеркальном отражении, а потом, наконец, решился попросить ноты. Когда стало можно учиться, он ходил за пять километров в соседний хутор в школу. После седьмого класса он взял ранец, положил в него хлеб — и ушел пешком в райцентр, поступать в техникум. Он был самоуверен, трудолюбив и начисто лишен авантюризма. В город дед попал за отличную учебу — сердобольный директор оплатил ему проезд и дал сопроводительные документы с просьбой зачислить на первый курс лесотехнического института. Дед жил в комнате маленького домика в бывшей слободке за институтом, вместе с тремя однокурсниками. Он был старостой, отличником и придирой и, в общем, преподаватели любили его больше, чем студенты. Но дед не унывал, он усердно учился, играл в ансамбле и — не мечтал, нет, — а серьезно готовился к аспирантуре. Следующей целью в его стройном жизненном плане была семья.

— Мы репетировали. А потом дед предложил: давай еще вдвоем с тобой подготовим номер: я буду на баяне, а ты — петь. И мы с ним сделали еще одну песню, шуточную. И выступили.

Эту песню я тоже, конечно, знала. Мне нравилось петь ее вместе с дедом под баян. Мне кажется, дед всегда играл ее, когда они с бабушкой бывали в ссоре или раздражены. Бабушка тогда тоже переставала греметь посудой, приходила в комнату и садилась рядом. Она улыбалась, подпевала мне и многозначительно подмигивала деду — мол, наш человек, вучка!

— А после концерта нас пригласили за стол. Ребята пиво пили, поднимали тосты за меня... А дед напился! Они его одели со смехом — и выставили меня провожать. Так мне было стыдно! Иду по улице — а за мной

мужик пьяный так гадится, и непонятно, кто кого поддерживает! Чуть со стыда не сгорела...

Крепкий невысокий дед в обоих левых ботинках производил скорее впечатление сумасшедшего, чем пьяного, и в трамвае бабушка испытала несколько неприятных минут, когда вечерние пассажиры с любопытством и страхом рассматривали их несуразную пару. Бабушка готова была провалиться сквозь землю и, с отчаяньем глядя в окно блестящими от стыда глазами, проклинала деда на чем свет стоит. Только через две недели ревнивый Толик признался, что бабушка нравилась ему, и это он в отместку подлил непьющему деду в пиво стопку водки с молчаливого одобрения сотрапезников.

— Он еле уехал от нас, а мне мама говорит: «Ухажер твой, что ли?» Я так возмутилась: «Какой ухажер, говорю, да он же просто пьяный! Не нужен мне такой ухажер!» У меня отец пил, пока на войну не ушел, я пьяных за квартал обходила... Мама плечами пожала, мол, нет так нет, но парень, говорит, видно, приличный, вежливый, хоть и хватил лишнего. Ну, поговорили, и спать легли. А на другой день я возвращаюсь со смены вечером, смотрю, а он меня уж ждет. Плащ свой на плечи накинул. До самого дома меня провожал. Я задумалась: внимательный вроде, заботливый... А Алик непонятно еще какой будет — известное дело, моряк, он там в порту, может быть, с девками путается... Ну, кто ж его знает?

А Алик стоял в это время в Эстонии. Он сидел к начальству и сказал, что женится, письмо бабушкино показал. Семейному теперь уже штурману полагалась жилплощадь, и Алику к свадьбе дали квартиру на окраине Таллина, неподалеку от Мууги. Раз в неделю он вызывал бабушку на телеграф для переговоров:

— Ну, что ты там? Как? Ждешь меня? — нетерпеливо кричал в трубку Алик.

— Жду, Алик, жду, — замирая, отвечала бабушка...

— И вот как-то, месяца через два, прихожу я домой с ночной смены, уже поздно. Смотрю, а мать не спит, встречает меня в коридоре и говорит шепотом. Я у нее: «Чего, мам, случилось-то?», а она мне: «Там, говорит, Миша спит, я его на свою кровать положила. Он давно пришел, сказал, что ему, мол, срочно надо с тобой переговорить. Ждал-ждал, да и заснул. Так я его будить не стала — жалко...» Срочно, слышишь? Эх, дед, на материнной кровати заснул... А у нас комнатуха была маленькая: две кровати, стол и стул. Кухня — еще меньше. Пришлось мне на полу стелить! Дед проснулся, увидел меня, сел сразу и прямо к делу: «Наташа, говорит, выйдешь за меня?» Я задумалась — Алик-то что? Алик еще неизвестно... Да и отец у него суровый... Что-то у нас получится? А ну как бить меня станет? Известно — моряк... А тут — интеллигентный, студент, отличник... Играет как хорошо! И заботливый. Да вот и пришел ко мне среди ночи — значит, очень нравлюсь я ему. Тут и мать говорит: «Хороший какой Миша, выходи за него. Он студент, курс кончит — и будет специалист». Деда Тимоню-то я потом вспомнила...

Бабушка снова вздыхает и медленно обводит взглядом темнеющие заросли парка. У меня в голове опять всполошились всегдашние мысли. Я больше не думаю о том, как несчастливо сложилась судьба двух так любимых мною людей, двух замечательных людей, которые были бы так счастливы порознь! Ах, дед Тимоня! Мама! Старый сонник! Бабушка, как же ты так легко позволила решить за себя?

У молодой бабушки была толстая тетрадь в клеенчатой черной облож-

ке. Ну, то есть это когда-то была толстая тетрадь, но запись дешевых рецептов из надоевших продуктов, планирование трат, аккуратное ведение хозяйственных подсчетов, которые исправно делала прабабка, то и дело обдергивая листы под обложкой, сделала ее тоньше вдвое. Бабушке хватало и этого. Вернувшись с ночной, она улучала минутку, пока пила чай, и старательно заносила в тетрадку все, что произошло за день значимого для нее, чем в своем поведении она бывала довольна и чего в следующий день ей следовало бы избегать. Это Нина уговорила ее вести тетрадь — она прочитала в одной книжке, как надо работать над собой. Конечно, это было что-нибудь вроде «Домоводства». Но бабушка очень старалась.

Наступила зима. Когда бывал выходной, они с Ниной собирали подружек и бегали на каток. Кто к сапогам, кто к валенкам привязывали железные полозья, и с громким перестуком кружились по льду, толкались и хохотали. А вечером, сварив обед и щи из кислой капусты — для слабой желудком матери, бабушка брала пальцы и вышивала за столом, близко придвинув тяжелую настольную лампу. Тогда мать подвигалась на своей кровати к свету и, разложив газету на худеньких коленях, медленно читала вслух. Мелко тикал будильник. Темнота собиралась в углах и, постепенно густея, окружала их тесным кольцом, заглядывала через плечо... Все было так ясно, так просто.

Теперь тетрадь пылилась на подоконнике, а бабушка после ночной смены лежала в темноте без сна, раскинув руки, и лунный свет бродил по ее измятому пододеяльнику. Жизнь была куда сложнее, чем в книге «Домоводство». Ей представлялся Алик, стройный и жгучий, он сверкал улыбкой, а потом уплывал, уплывал в море и там тонул и грозил ей из волн синим от наколок крепким моряцким кулаком... То являлся Миша, вскакивал, встрепанный, с материной кровати и накидывал бабушке на плечи свое теплое зимнее пальто, а белобрысый чуб его при этом падал на хитро прищуренный правый глаз и прятал его от бабушкиного взора... Потом опять появлялся Алик, загорелый, он садился возле нее на пляже у реки и с волнением говорил: «Ты похожа на мою мать»... А потом появлялся суровый мужчина, высокий и плотный, с густой седеющей шевелюрой — отец; он грозно смотрел сверху вниз, накреняясь, и рокотал: «Не дождалась?..»

Тогда, стараясь не скрипнуть кроватью, чтобы не нарушить хрупкий материн сон, бабушка переворачивалась на бок. «Миша такой хороший, выходи за него», — тут же звучал в ее голове тихий голосок... Наконец, старый, желчный дед пронзительно взглядывал на нее через стол и, уставившись в карты, хрипел: «Не выйдешь за моряка. Выйдешь за студента!» Он дул на свои засаленные карты, и они летели в бабушку, превращаясь на ходу в крикливых рябых буревестников...

* * *

— Религиозных праздников мы не отмечали. Но мать точно знала, когда бывают Святки, и мы с Ниной всегда в это время собирались потихоньку гадать...

Бабушка усмехается, и я усмехаюсь тоже, и вижу только блеснувшие, ожившие на миг ее глаза, и думаю: все мы девчонки...

— ...А на ночь я положила под подушку зеркала и тихонько сказала: «Суженый мой, ряженный, приходи со мной спать!» И мне приснился волк...

Бабушка любила книги. Денег на них не было, но она брала в библиотеке и читала. Она любила Гончарова и Пушкина, и уж, конечно, думала о Татьяне, засыпая в тревоге над зеркальцем. Но приснился ей, в самом деле, волк. Только не настоящий, дикий, а в зоосаде. Он бродил за решеткой и посматривал на бабушку, и каждый раз, когда их взгляды встречались, бабушка обмирала. Она отводила глаза, а с места сдвинуться не могла. Уныло топталась она у забора под клеткой. И тут появился Алик. Взял ее за руку и говорит:

— Не бойся! Вот смотри, сейчас я его выпущу — и он меня не укусит!

И Алик, смеясь и не слушая отчаянных окликов бабушки, полез через ограду и отпер клетку. Волк посмотрел на него и смиренно спустился по железной лесенке сторожа к бабушкиным ногам. Холодея от ужаса, бабушка пальцем коснулась его уха, но погладить не посмела и немедленно отдернула руку.

— Не бойся! — хохотал Алик. Он спрыгнул с ограды, схватил волка за холку и потрепал, как собаку. И — о, ужас! — зеленым огнем полыхнули страшные глаза, волк глянул на бабушку с ненавистью, легко подпрыгнул и одним быстрым точным движением, как будто наделся на Алика, проглотил его целиком и без остатка. Затем встал на задние ноги, снял и аккуратно отряхнул серое пальто, залихватски подмигнул осевшей на землю бабушке и подал ей руку:

— Ну, пойдём, что ли? Вставай, пойдём! — говорил молодой дед, улыбаясь доброй мясистой улыбкой и дергая бабушку за руку...

— Вставай, Наташа, пойдём встречать — Миша приехал, — тянула и тормошила бабушку ее мать, стоя у кровати в пальто прямо поверх ночной сорочки. — Конфеты под мышкой принес, тебя требует.

— Во! — заключает бабушка с удивлением, словно бы изумляясь безалаберности высших сил, так явно подсказавших ей опрометчивое решение. Она не ропщет, она всю свою жизнь силится только понять, для чего так обошлись с ней высшие силы? Я сижу и смотрю на ее удивленное лицо. И даже в этом удивлении вижу я неколебимое равнодушие глаз, не глядящих на меня, и все так же бесстрастно меряющих реку с востока на запад и с запада на восток. Морщины, собравшиеся на лбу, медленно расправляются и оплывают, и снова передо мной выцветшее и выветренное изваяние в пустыне.

* * *

Сложно сказать, кем больше был в этом сне дед: волком по соннику Лоффа или Нострадамуса. Но когда мне настала пора отправляться за знаниями в вуз, дед страшно всполошился. Был он уже немолод. Лет десять прошло с тех пор, как правительственным письмом государство за особые заслуги поздравило его с солидным юбилеем.

...Мне было тогда восемь, и я ужасно гордилась дедом. Розовая грамота с золотым тиснением пришла заказным письмом по почте, и неуговорный дед целый месяц хвастался ею перед нами. Приходили поздравления из университета, со станции и, наконец, даже из рязанского лесничества, где дед когда-то в молодости по-настоящему служил лесником во время летней производственной практики. Помню, поздравления из лесничества, для которого, как видно, дед сделал много добра, окончательно уверили меня в состоятельности его как лесника. Были вынуты и раскрыты большие пыльные альбомы, над которыми склонилась вся семья,

и бабушка улыбалась на молодого деда и одобрительно качала головой. Вот дед с высоко задранным волевым подбородком и плотно сжатыми губами фотографируется на студенческий билет. Чуб свисает на левый глаз. Вот дед на защите диссертации стоит у доски с транспарантом и показывает на него указкой. Чуб тщательно зачесан назад. Наконец, дед в темно-зеленых погонах с нашивками в виде дубовых листьев пожимает руку декану на встрече выпускников. Чуб уже отсутствует...

И вот к моему поступлению дед внезапно обрел былую удасть. Он был уже на пенсии, но вынул из шкафа бережно хранившуюся бабушкой в нафталине форму с лесными погонами, надел ее, оправился перед зеркалом, придал лицу суровое выражение со студенческой фотографии, как делал всякий раз, когда собирался произвести впечатление, и молодецкой походкой отправился напрямик в кабинет к моему будущему ректору. Мы с матерью только рот успели разинуть и кинулись было ловить деда, когда дверь приемной перед самым нашим носом захлопнула обиженная секретарша и недовольно объявила, что у ректора обеденный перерыв. О чем толковали за закрытыми дверями ректор и мой дед, осталось загадкой, но вышли они под ручку и шли так до конца коридора. Дед уже называл его по-отечески «Саня» и широко, самодовольно улыбался. «Саня» же, к немалому нашему удивлению и облегчению, был польщен и тронут, несмотря на то, что самому ему было за пятьдесят. Он отвечал деду уважительным рукопожатием. Кажется, расстались они друзьями.

Бабушка тоже смотрит сейчас туда, в блестящее прошлое мужа, и словно пытается оправдаться перед кем-то.

— Дед, что называется, «умел»...

Бабушка никогда не знала, с какой двери входить к начальству, куда писать жалобу на самоуправство коммунальщиков, как оформлять документы в бухгалтерию. Войдя в ее маленькую забитую жизнь, дед произвел там колоссальный переворот, строго и навсегда определив ее место в новой, общей их жизни.

Когда вечером после работы и ЗАГСа они сели за стол с клеенчатой скатертью перед торжественной и встревоженной прабабкой, все трое долго молчали. Дед не заметил, что на столе в этот вечер к чаю был «Киевский» торт — небывалая, непозволительная роскошь для бедного женского семейства. Прабабка неловко ерзала, поправляя свой парадный белый платок, и с мольбой и тревогой вглядывалась в новоиспеченного зятя. Она ждала какого-нибудь успокоительного знака, жеста, улыбки. Но дед был суров и задумчив. Наконец, он встал, решительно шагнул к печке и достал из подпечника инструмент и проволоку.

— Тут, мама, надо ширму повесить. Я сделаю.

Прабабка бросила короткий взгляд на бабушку и потупилась, а бабушка удивленно повела плечами и поглядела на деда. С тех пор она всегда глядела на деда и ждала объяснений, но получала только наставления и указания, опускала голову, совсем как ее мать, и подчинялась.

Так на следующий день после свадьбы дед заставил ее написать «отречение» — короче говоря, дать решительный отпор Алику.

— Сунул мне бумажку под нос, перо свое самопишущее дал и говорит: «Пиши: я не любила тебя, а была лишь увлечена тобой...» Босоножки серебряные выкинул...

Бабушка вздыхает снова, и брови ее приподнимаются, чтобы собраться в грустную гримасу, но жест остается незавершенным, брови застыва-

ют на полную тишину и от этого маленькое лицо ее приобретает вид растерянный и глуповатый. И я дочувствываю за бабушку, как домываю незаметно за ней посуду и доччищаю картошку. Как же ты так? Неужели и впрямь были тогда такими покорными женщины? Бессловесные Аленушки.

* * *

Дед был человек серьезный и занятой, поэтому, когда мать уходила на работу, я оставалась на попечении бабушки. Вместе мы провожали деда, и каждый раз бабушка отряхивала его пиджак в прихожей и говорила: «Ни пуха, ни пера!» Бабушка объясняла мне, что так говорят на счастье. И когда за дедом затворялась дверь, я еще стояла немного, прильнясь к крашеной зеленым деревянной обшивке, и шептала в замочную скважину: «Ни пуха, ни пера!» — чтобы в этот день счастье у деда было наверняка. Потом мы шли на рынок по залитому солнцем городу, чтобы купить овощей, сладких сочников, булок и сыра. Бабушка всегда брала немножко крупной черной черешни для меня, так что я заранее начинала приплясывать от нетерпения и ждать возвращения домой. Но приходиться сюда мне очень нравилось. Во-первых, бабушка называла рынок «базар», поэтому каждый раз я отправлялась не в унылую лавку, а в удивительное волшебное путешествие на Восток, и нимало не сомневалась, что идем мы на тот самый персидский базар из сказок Шахерезады, где Аладдин увидел царевну Будур. Я никогда не бывала разочарована: грязные, острые запахи, гул тысяч голосов, крикливые азербайджанцы, зазывавшие к своим ярким богатым прилавкам с сухофруктами, узбеки с экзотическими дынями, шустрые торговки с жирными колбасами и огромными круглыми сырами — полностью оправдывали мои ожидания. Во-вторых, смуглые бородатые дядьки пытались завлечь бабушку тем, что наперебой совали в мои руки персики или абрикосы на пробу, не забывая нахваливать и товар, и меня, что, конечно, было ужасно приятно. Ну и, в-третьих, разумеется, черешня (арбуз или виноград — по сезону)...

Потом мы обедали и отправлялись к бабушке на работу. Здесь было скучновато, потому что как только бабушка откидывала коричневый кожаный чехол с электрической печатной машинки, мне оставалось только достать фломастеры и начинать рисовать. Но я не роптала: я рисовала горы и отважных скалолазов и, забываясь, начинала тихонько разговаривать сама с собой.

А когда за окнами темнело и в университете не оставалось ни единой живой души, к нам приходил дед. Мы втроем закрывали кафедру, проверяли, заперты ли двери аудиторий, гасили свет на всем этаже и сдавали тяжелую связку ключей вахтерше. Дед зажигал фонарь, и мы шли домой по неузнаваемым, страшным улицам. Я пряталась между бабушкой и дедом, а они брали меня за руки с обеих сторон. Тогда, повизгивая от удовольствия, я повисала на их руках, и бабушка с дедом смеялись над тем, какая я хитренькая.

Вот, значит, чего оно стоило, мое безмятежное сказочное детство?

— Алика я с тех пор больше не видела...

Алик был гордым человеком. Получив письмо, он оскорбился бабушкиным вероломством до самых глубин своей простой и горячей души. Он больше ни словом не перемолвился с ней. Но немедленно отправил телеграмму с вызовом на переговорный пункт бабушкиной Нине, которая, как он давно догадывался, была в него влюблена. Назло бабушке, он в ка-

кой-нибудь месяц сделал ей предложение, вызвал в Таллин и женился. Семья заняла двухкомнатную квартиру неподалеку от Мууги, ту самую, и целую неделю моряки гуляли от Аликовых щедрот и пили за здоровье молодых.

— И уехала моя Нина...

Бабушка рассеянно кивает кому-то, не мне, как будто она видит сейчас свою Нину в пурпурном перистом небе, и только Нины ей по-настоящему жаль.

— Я не обижалась на нее. Я на деда обижалась. Ну, вот зачем он бо-соножки выкидывал? Карточку Алика — он подарил мне перед отъездом — порвал в клочья. Ревнивый был — ужас! Чего выдумал: с подругами не общайся, они тебя добру не научат! Вот так-то...

Коньки бабушка завернула в тряпичный мешочек, чтобы не ржавели, и забросила на печь. С фабрики уволилась — жене кандидата наук не пристало собирать телевизоры. Дед пристроил ее к университету (вот и пригодились курсы машинописи), и бабушка застучала по клавишам. Выяснилось, между прочим, что она близорука, и дед выбрал ей красивые очки на цепочке, которые до сих пор еще она носит дома, тщательно заправляя за ухо укрепленную пластырем отломанную дужку.

— Сроду ничего не покупал, на свадьбу даже, а тут купил — надо же было показать всем, какой он хороший муж... Да и по правде сказать, денег у нас ни на что не было: стипендия его, зарплата моя да материна пенсия — она все нам отдавала, себе ни рубля не брала...

Бабушка горько качает головой, с запоздалым пониманием и живой, давно уже безадресной любовью. И вдруг встает решительно.

— Пойдем, пора. Холодает, — и, поджав губы, молча и сердито отворачивается от реки. Я встаю следом и тоже оборачиваюсь с готовой улыбкой: по темной аллее между нависших каштанов быстро семенит к нам твердыми энергичными шажками маленький человек в белой старомодной фуражке на блестящей большой голове. Дед, как всегда, идет встречать своих женщин. Коротким движением он как будто откидывает с глаз длинный непослушный чуб и заговорщически улыбается мне. Я беру под руки своих стариков и веду их в алой густой темноте по тем временам, когда они, может быть, были немного счастливы вместе.

